**ЛЕСНЫЕ ЯБЛОНИ**

Рассказ

Ветер раскачивал старые тополя в парке, и свет электрических фонарей, пересекаемый ветвями, падал неровными дрожащими и мечущимися полосами на стену комнаты. Михасю Букачу, едва он открыл глаза, показалось даже, что большие круглые часы выгибаются и дребезжат в окружье этих колеблющихся теней. Однако черные стрелки словно застыли. "Ночь. Полвторого..."

И сразу же, едва только осознал это, он сообразил, что лежит не дома, а в квартире своего партизанского друга Антона Гайко, у которого остановился по дороге в санаторий под Ригой. Сердце сжало тоскливое ощущение совершенной ошибки — с этим ощущением он и уснул вчера, когда Гайко пошел на завод.

Букач лежал навзничь на диване, заложив руки за голову, вглядываясь в меняющийся хоровод теней на стене вокруг часов, костерил себя за то, что поддался уговорам своего дружка и остановился в Минске. Какого черта — путевка у него начиналась с двадцать первого — было выезжать на два дня раньше? Чтобы балдеть здесь на этом неудобном и жестком диване, слушать, как где-то в лоджии что-то все время стучит и дребезжит от сильных порывов ветра? Чтобы, как вчера, по два часа убаюкивать маленького внука Гайко, и рассказывать ему сказки, и упрашивать его не баловаться, а спать? Чтобы снова увидеть мешковатого Гайко, который ничего в жизни не достиг и словно засох возле своих вагранок на заводе, растранжирив время и последние силы черт знает во имя чего? Чтобы разбередить душу, оттого что в свое время не настоял, не помог своему партизанскому другу поступить в какой-нибудь институт и получить высшее образование?

— Только ведь нельзя было не остановиться в Минске, — утешая самого себя, негромко произнес Букач, — обещал же Антону...

Оно действительно так и было, и он обещал Гайко приехать к нему в Минск, прошлым летом обещал, когда они свиделись на Двине, под Полоцком, праздновавшим годовщину своего освобождения. Букач был тогда приятно удивлен, что Гайко не стал там припоминать свою старую обиду — они крепко поругались, когда Гайко наотрез отказался поступать в институт, все эти годы обменивались только поздравительными открытками ко Дню Победы, — и очень обрадовался встрече. Тогда у традиционного партизанского костра Букач пообещал, что будущим летом на денек заскочит к своему другу, и нынче, получив санаторную путевку под Ригу, выехал из Москвы на день раньше, чем следовало, рассчитывая, что девятнадцатого он гостит у Гайко, а двадцатого отправится дальше.

— От меня поедешь двадцать первого. Утром, — сказал он, когда они встретились в аэропорту. — "Чайкой". Поезд фирменный, сплошная роскошь. Конечно, завтрак санаторный потеряешь. Но я тебе сварганю не хуже.

— Мы ведь договорились на двадцатое. Что, билет не достал?

— Билеты были. Только как условились? Устраиваем партизанский костер. Это я и внуку обещал. У Леньки только что и на уме, так это партизанский костер.

— Сегодня костер устроим. Вечер же в нашем распоряжении!

— Сегодня я в ночь иду, — и, заметив, что Букач его не понял, торопливо добавил: — У моих воспитанников первая ночная смена. Хочется на них поглядеть. Тем более что формы очень ответственные идут. Зато завтра у нас с тобой весь день свободен.

— Как-то по-партизански ты действуешь...

Букач смутился, а Гайко улыбнулся:

— Партизанщина у нас с тобой в крови. Неистребимая. Поэтому и в остальном у нас с тобой все будет по-партизански. Двухкомнатный будан — полностью в твоем распоряжении. Жена с Игорьком на Двине — подсобляет матери с огородом управиться. Зинаида с мужем в командировке. Поутру приедут. Леник в детском садике.

— Ты что, так и живешь по-прежнему, укрупненным колхозом?

— Геннадию квартиру обещают. Скоро получит.

— Ты мне то же самое и в прошлом году говорил. Не забыл? Скоро зять квартиру получит.

— Однако память у тебя научная: всякая мелочь на учете.

— Не научная, браток. Партизанская.

Они засмеялись, и чувство неудовлетворенности у Букача растаяло. Но тотчас же вспыхнуло вновь, из невидимых сердечных глубин накатывало раздражение, закипала злость на собственное безволие. Мало того, что он согласился, остался до двадцать первого, так еще и налег на эти разные наливочки, щедро выставленные Гайко и в обед, и на ужин: калина на чистом сахаре, черноплодная рябина на пшеничной водке, ягоды можжевельника на "Столичной", корешки шиповника на "Минской крепкой"... Что-то было еще в разноцветных, разных емкостей посудинах, сбившихся в тесноте за черным стеклом на нижней полке серванта. Но забираться в его недра у равнодушного к выпивке Букача желания не возникло, однако Гайко настаивал, и пришлось отведать хоть по капле почти из каждой.

Прошло довольно много времени после той дегустации — после обеда он часика два поспал, затем бродил по городу, потоптался у запертого входа в Дворец искусств, навестить который настойчиво советовал Гайко — "Шедевры увидишь! Михась Савицкий создал такое! Века переживет!" — потом гулял по парку, завернул в музей Янки Купалы, надолго задержался с рыбаками, удившими с набережной Свислочи. Там же, возле плотины, Букач встретил Гайко, который вел Леника из детского садика, и малец не успокоился, пока не облазил почти все аттракционы в парке, — он уже и забывать стал про предобеденную дегустацию, однако хвойный аромат ягод можжевельника стойко держался во рту. Букач поднялся, пошел, не зажигая света, на кухню, налил воды в стакан, маленькими глотками выцедил ее и возвратился в комнату.

Он снова прилег на диван, закинул руки за голову, смотрел на мечущееся кружево света и теней возле часов. Во рту по-прежнему держался крепкий и устойчивый вкус смолистых ягод можжевельника, и такая же горечь оседала на душе. Еще один, как видишь, без толку загубленный день.

Каждый день своей жизни Букач оценивал с точки зрения того полезного, что успевал за этот день сделать. Прошедший же день пролетел впустую. Наливочки, двухчасовой обеденный сон не только не взбодрили, а наоборот, расслабили. Напрасная прогулка ко Дворцу искусств, закрытому по непонятным причинам, возня с Леником, который, воспользовавшись тем, что дед ушел на завод, упрямо не хотел ложиться спать и требовал все новых сказок и рассказов про партизан... Впустую, бессмысленно потраченное время! А если бы он был дома, в Москве? Отзыв на реферат, отбиться от которого, к сожалению, не смог, — раз. Переделка камина на даче — два. Встреча с редактором издательства, который вел его монографию... Там, в Москве, каждый час его, кандидата исторических наук, тщательно спланирован, записан в блокнотик: что, когда, куда, с кем... А тут? Этот несобранный, без всякой внутренней дисциплины Гайко! Одно только и знает — наливочки! Да еще песни: "Давай, Михале, врежем нашу партизанскую!" И если бы вечером, скажем. А ему средь бела дня песни выдавай. Вот и просвистал, протрубил лучшие годы своей жизни: как пошел в цех формовки, так до пенсии там и прокантовался. И теперь к этим вагранкам его будто магнитом тянет.

Когда-то, начав тот спор, что развел друзей на года, Гайко отметал Букачевы возражения и доказательства необходимости учиться дальше одним и тем же коротким утверждением: я, мол, человек рабочий. Разве, скажи, это плохое призвание?.. Никто же, помнится, Букач возразил, не говорит, что плохое. Отличное. Но и рабочий человек, если он стоит на одном месте, не движется вперед, словно тот гранит на кромке поля где-нибудь — мхом порастает. Такое с Гайко и случилось, по его, Букача, мнению: без малого полвека он возле этих своих опок провел. А чего добился? Наград — нет. Общественного признания — не заметно. Ничего хорошего и в житейском смысле не скажешь: как сидел в двухкомнатной, так досель и маринуется. Двоих детей нажил. Сын в Полоцке учительствует. Дочь вдругорядь, на этот раз вроде бы удачно, вышла замуж, живет с родителями. Зять, внук... Не разгуляешься, если все соберутся вместе. Интересно, кто же на этом диване спит? И вообще, как они тут мостятся на ночь? Диван этот, да еще тахта широкая, с валиком, в той комнате, да коляска, в которой спит Леник. Ему, правда, благодать — в лоджии спит... А как же остальные? Да что в конце концов он колупается в жизни этой семьи? "Заставил меня, бездельник, в чужой ковыряться судьбе..." Откуда эти строки? Не Есенин ли? Да, он. Великолепная, между прочим, поэма! "Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке..." Сколько же горькой печали и тоски в каждом слове! Да нет, друже, печаль не в поэтовых строках, а в той простой истине, что твои "шестнадцать" ой как далеко-далеко... Даже больше, чем просто далеко. Еще чуток — будьте любезны: мы, мол, провожаем на заслуженный отдых нашего уважаемого Михаила Григорьевича Букача, который на каждом шагу давал нам пример и образец... Только слушай, развесив уши! И придется. Ну и пусть себе. В следующем году увидит свет монография, защита докторской пройдет как по маслу. Короче говоря, все будет так же, как в той песне, которую так любит Гайко: "...нас не выдадут черные кони. Вороных уж теперь не догнать..." Не-е-т, Букача теперь не догнать, он уже не такой очумелый забияка, которого лупили по горбу. Он уже не похож на того глупого окуня, что сдирает на брюхе чешую, чтобы проскочить каменистый перекат. Букач теперь скорее тот рассудительный головень, что отсидится в тростниках под берегом, пока не пройдут дожди. А перестанут они, нальет небо воды — плыви себе, посмеиваясь над тем глупым окунем, плыви в широкие и глубокие водовороты, где можно блаженствовать на приволье, ничего не боясь. Когда-то подтрунивал над этой наукой Гайко, вот и торчит на каменном перекате жизни.

Эти мысли убаюкивали, умиротворяли, и Букач уснул. Проснулся он от тихих голосов за дверями, шепота, приглушенного смеха. Комната была щедро освещена солнцем, на стене, где ночью суетились черные юркие тени, теперь ярко сверкали часы, и стрелок на них совершенно не было видно.

Букач, ощущая во всем теле удивительную легкость, быстро встал, оделся. Начал натягивать носки и услышал, как за спиной скрипнула дверь и сразу же, откуда-то издалека, прозвучал голос Гайко:

— Леник, отойди! Дядя Миша еще спит!

— Давно не спит, — откликнулся Букач и распахнул дверь настежь. — Здорово, товарищ разведчик! Что успел уже разведать?

— Танки! Мы с дедом сделали уже засаду!

— За это, дорогой ты мой, вам награды положены. Тебе — орден, деду — медаль!

— Щедро делишь, однако, — отозвался из коридора Гайко. В синих штанах и майке, босиком, он растирал полотенцем шею и смотрел на Букача дружелюбно. — Как спалось-отдыхалось?

— Просто шикарно, знаешь. Правда, в половине второго проснулся чего-то, а потом — как в омут головой. О, это уже на девятый давно повернуло. В это время, знаешь, меня уже мчит метро. И забота подгоняет.

— Заботы здесь не будет!

— Я это почувствовал. И, знаешь, удивляет что? Во всем теле какая-то мощь, будто помолодел. Чудотворные, надо признать, твои наливочки на корешках. С них сейчас и начнем.

Гайко развел руками:

— Э-э, нет, дружище! Утром у нас на питье — табу. Наливочка будет, когда карасей надергаем и юшечку сварим. Сейчас позавтракаем — и сразу же мчим на старые партизанские места!..

Это "сразу же" растянулось на добрые два часа. Завтракали на кухне, тесноватой, но чистенькой, уютной очень, с пышной геранью в низком вазончике в углу подоконника. Но Букач почувствовал, что ему чего-то недостает, чтобы держаться наравне со всеми, чтобы одинаково шутить со своим другом, его дочкой, зятем Геннадием, круглолицым, голубоглазым, который наливал чай в стаканы и будто всем по очереди подмигивал.

Чай показался Букачу сказочно ароматным, и он не удержался от похвалы:

— Настоящий "Цейлон". Но чем-то улучшенный. Опять корешки?

— Чабер, — звонким и радостным голосом воскликнул Леник. Лениково уточнение встретили дружным хохотом. Но Леник не растерялся и не смутился, похвалился все тем же звонким радостным голосом:

— Чабер мы вместе с дедом собираем. Дед нас всех к чаберу приучил!

Букачу не терпелось пошутить, сказать что-то необычное, влиться в атмосферу общей радости, что царила на кухне. Взгляд его остановился на яблоках, что лежали в квадратном лукошке из коричневатых прутиков. Лукошко было самодельным, недавно сплетенным, а яблоки, будто нарисованные, все краснобокие, огромные, с капельками влаги, которая не успела просохнуть. Он отказался от сахара, который предложила Зина, дочь Гайко, подцепил ложечку яблочного варенья, прозрачно-желтоватого, с тонкими яблочными дольками, похожими на желтоватый серпик зимнего, в сильный мороз, месяца. Глотнул варенья, запил чаем; варенье растаяло, оставив во рту тонкий, с ванильным оттенком, вкус.

— А скажи-ка ты мне, Леник, что твой дед в это варенье подмешивает, — спросил Букач и снова зачерпнул полную ложечку из своей вазочки. — Выдай, дружище, секрет, потому что это царское варенье.

— Нека, царское не это, — выпалил Леник, обрадовавшись, что Букач внимательно его слушает. — Царское бабуля из крыжовника варит. Кладет в него листики вишни. Добавка такая.

— А в этом какая добавка?

— Никакая. Яблоки. Одни яблоки.

— Какие? Вот такие? — Букач показал на лукошко.

— Не-е-е. Партизанские. Мы с дедом в лесу собирали!

— Сдаюсь! — Букач шутливо поднял руки. — Победил ты меня своей осведомленностью. Так что вы с дедом... Вы с дедом...

— Герои! — снова звонко и радостно выпалил Леник.

Букач смеялся вместе со всеми. Однако ощущение того, что здесь он человек чужой, что есть отделяющая его ото всех других за столом черта, никак не исчезало.

Наверное и Зина, и ее муж знают о том, что он когда-то дружил с Гайко, потом неведомо почему отдалился, а теперь вот сидит здесь с ними, словно свидетель своей собственной ошибки и победы Гайко... Несомненно знают! Только, собственно говоря, о какой победе может идти речь? У него, Букача, есть свой взгляд на то, что произошло между ними, старыми друзьями по дням партизанским. Тут, кстати, ему, Букачу, все ясно и понятно. Неизвестно только, почему стало не по себе, накатила острой душевной болью тоска...

Он заглушил это чувство смешком, адресованным малышу Ленику, бодро поблагодарил всех за угощение и, поднявшись, пошутил:

— Похоже, что караси нас сегодня не дождутся.

— Едем, едем! — обрадовался Леник. — Деда, я бегу к машине.

— А семечки ты взял?

— Они уже в машине. Я их раньше положил. И удочка моя там.

— Тогда можем отправляться. Двинулись, двинулись, — поторапливал всех Гайко. — Бери, Леник, дядю Мишу, и шагайте...

В стареньком, но усердно ухоженном "Москвиче" Букача неожиданно быстро разморило, и, если бы не Леник, который вьюном вился на заднем сиденье между ним и матерью, он, наверное, и задремал бы. За городом сон совсем сморил его, и Гайко, заметив это, забрал внука к себе на переднее сиденье. Букач смежил веки, и сразу же какая-то теплая волна подхватила его.

Как долго это длилось, Букач не мог сообразить. Вдруг машину сильно тряхнуло, он открыл глаза и увидел, что они уже не катят по асфальту, а трясутся по желтеющему проселку, вдоль которого тянутся сплошной стеной березы и осины, переплетенные низким и густым орешником. Мягкий, пропахший ароматом леса ветер ударил в лицо, и сонливость как рукой сняло, и Букач как бы внове увидел всех сидевших в машине. Зинины руки лежали на спинке сиденья, но пальцы касались плеча мужа, и ему это было приятно, и он время от времени откидывал голову назад, шевелил плечами, словно пытался прижать пальцы жены к спинке; игра эта тешила и ее, и его, и они так увлеклись ею, что, казалось, ничего не замечали вокруг. В то же время Геннадий вел машину уверенно и умело, притормаживал перед каждой выбоинкой на дороге.

Букач старался не смотреть в сторону Зинаиды и Геннадия. Но боковым зрением он постоянно видел игру тонких женских пальцев и широкого, с коротко подстриженными волосами затылка, примечал еще, как то исчезает, то взлетает возле правой щеки Гайко вихрастая макушка Лениной головы, слышал, что малыш о чем-то шепотом договаривается со своим любимцем. "Деда" — только это слово и долетало до его слуха, — и опять, как ночью на диване, почувствовал неловкость, непонятную печаль и тоску, которые жили, казалось, не в душе, а где-то рядом, огороженные невидимой межой.

Дорога круто пошла в низину, березы поредели и вдруг вытянулись ровным шнурком, открыв узкую, но ровную и почему-то очень знакомую ложбину. Похоже, что он уже когда-то видел ровную, словно вырезанную из зеленого картона, лощину, окруженную со всех сторон деревьями. Букач посмотрел влево, где белели молодые березы, потом перевел взгляд на густой осинник, который стоял за дорогой по правую сторону и над которым сверкала, будто из серебра, листва, и его охватило жаром.

"Это же тут мы шли в сорок третьем!.. Когда меня ранили!.."

— Узнал, — засмеялся Гайко. — А я специально молчал: узнает ли, думаю. Хотя тогда не очень-то тебе хотелось по сторонам глядеть.

— От дороги мы отходили тут, кажется. Нет, к дороге подходили этой низиной... Припоминаю теперь... Только тогда над осинами старые ели нависали.

— Из тех елок люди хаты давно построили.

— Остановись. Походим тут.

— Сейчас. Нам уже недалеко, — ответил Геннадий.

Осинник остался позади. Дорога вильнула теперь в березовую рощицу, которая прошлым летом, очевидно, была прорежена, затем побочь начались молодые посадки елочек, березок и дубков. Деревца — в середине посадок шла ровная лента молодых дубков — были кустистые, росли привольно, и за ними блеснуло на солнце сверкающее зеркало воды в небольшом пруду. У пруда густо и пышно цвели развесистые яблони, и Геннадий остановил машину рядом с ними, возле черного пятна старого, поросшего уже травой кострища.

Вокруг стоял лес, и эти яблони, осыпанные кипенью, были похожи на волшебные белые зонты, что неизвестно как оказались в этом лесном уголке. Пятна белой кипени Букач разглядел и дальше, за посадками, у кромки старого леса, и они, казалось, не стоят на месте, а медленно движутся, отплывают за горизонт.

— Чудесный уголок! В войну как-то не замечал, — сказал Букач, расправляя плечи. Постоял, поозирался вокруг, недоверчиво кивнул головой в сторону пруда. — Но пруда этого тогда не было. Мы от дороги по низине бежали.

— Пруд выкопали после войны, — сказал Гайко. — Поить скотину — тут осенью колхозное стадо паслось. А караси сами завелись — их тут полно. И рыбаки, кажется, пока что это место не взяли на удочку.

— Чудесный уголок, — повторил Букач. — Особенно дубки эти. Говорят, что дуб медленно растет. А эти вымахали вровень с березами. А яблоньки — диво. Лесные яблони — чудо из чудес!

— Леник, Леник, — позвал Гайко внука, который уже разматывал удочку на берегу пруда. — Брось удочку, успеешь. Бери семечки и айда, — и спросил у Букача: — Пойдешь с нами или за удочки сядешь?

— Удочки подождут. А ты что, по совместительству и в лесничестве работаешь? Или это хобби небольшое?

— Придумал же словце кто-то, — Гайко протянул руку Ленику, который прибежал к нему, пошагал спокойно и неторопливо. В конце посадок остановился, вытащил из кармана охотничий нож с черным черенком, присел, начал колупать им землю. — Клади семечки, Леонид Геннадиевич!..

Леник выгреб из белого пакетика из-под молока щепоть семян, сыпанул на взрыхленную землю, разровнял пальчиками.

— Хороший у тебя помощник, — отметил Букач, оценив, что малец делает все опытно, ловко.

— Он мне уже третий год помогает. А до него — Зина в помощниках была, — сказал Гайко и снова присел на корточки, начал колупать землю ножом и отбрасывать в сторону корни травы. — Мы всю зиму семечки из яблок — в мешочек. А весной — посевная. Сразу после войны я за это занятие взялся. Все партизанские наши стоянки и стежки объездил и семена в землю бросил — растут теперь там яблоньки...

— И эти, у пруда, твои? — неожиданно вырвалось у Букача, и он оглянулся назад. Яблонь у пруда отсюда не было видно, их загородили молодые посадки.

— Мои. В память хлопцев наших, — ответил Гайко и, взяв из рук малого мешочек, протянул его Букачу. — Брось и ты, — и как-то задумчиво, рассудительно добавил: — Удивительно, между прочим, что в лесу яблони как-то красивее цветут. И не каждая, понимаешь, из семечка дикой вырастает. На этих, что возле пруда, очень вкусные. А тоже — из семечек. И никаких привоев...

Букач стряхнул с пальцев четыре маленьких твердых семечка, засыпал их землею и двинулся следом за Гайко. Где-то справа в лесу гулко отзывалась кукушка, и он, слушая ее тревожное и печальное "ку-ку", запустил руку в карман, нащупал какие-то медяки и с удовлетворенной ухмылкой подумал, что весь нынешний год, согласно народной примете, у него всегда будут деньги.

"А хлопцам тем нашим никакие деньги не нужны. Истлели давно в земельке", — эта мысль всплыла внезапно, и он с необычной отчетливостью вспомнил тот весенний день, когда их партизанская группа, в которой он был вместе с Гайко, перехватила на дороге в лесу колонну фашистских грузовиков, которые двигались из Минска на Алехновичи. Две первые машины они уничтожили сразу, успели поджечь еще одну. Но из середины колонны, из открытых грузовиков, густо и метко ударили минометы — охрана колонны была сильная и опытная. Минометчики отсекли группу от леса, автоматчики начали отрезать от низины, выжимая партизан на дорогу. И выйти из-под огня, прорваться удалось только Гайко, Букачу и еще одному молодому парню. Пять человек остались лежать в молодом березняке, и ночью командование отряда послало целый взвод, чтобы забрать убитых и похоронить по-людски, но тех уже не было. Потом стало известно, что фашисты забрали тела убитых с собой и неподалеку от Алехнович, чтобы устрашить людей, сожгли.

"И никто и никогда уже не узнает, что бы делали те парни сейчас, если бы были живы. Возможно, вот так же, как он сегодня с Гайко, ходили бы вот тут, по молодым посадкам, бросали в весеннюю землю коричневые семечки яблок..."

Мысль эта поразила Букача. Он взглянул на поблескивавший на солнце от пота затылок Гайко и впервые за эти два дня гостеванья у Гайко почувствовал, что в чем-то ошибся, рассуждая о жизни своего друга. Он, Гайко, видно, знал какую-то другую, неизвестную Букачу житейскую мудрость, когда посмеивался над Букачевыми рассуждениями про окуня, который обдирает свою чешую на каменистых перекатах.

С этим ощущением, ощущением того, что что-то в личной жизни сделано не так, Букач и вернулся к пруду, и удил карасей — клевали они часто, покрытые желтизной, жирные, один к одному, шириной почти в ладонь, — и сидел потом у костра, и пил "аромат шиповника", который Гайко, придумав это шутливое название, наливал в маленькие деревянные рюмочки.

День потихоньку угасал, и голубое майское небо в мгновение ока набрякло густой синевой, будто оседало на белые купола яблоневой кипени. Белый пепел, словно изморозь на отаве осенью, покрыл угли костра, и только один гнилой сосновый сук курился белесым дымом, но курился, на удивленье, с равными интервалами, будто какое-то живое существо сидело внутри него и утомленно дышало, умирая. С опушки долетел смех и веселый голосок Леника — малыш баловался с родителями. Где-то совсем близко за яблонями, что росли у пруда, вела свой неутомимый счет кукушка. Протяжное, печальное "ку-ку" было очень внятным, и Букачу на миг показалось, что кукушка притаилась где-то в ветвях, усыпанных пышными белыми соцветиями.

— Возникла в душе какая-то чудная мысль, — неожиданно для самого себя признался Букач. — Как бы жили сейчас наши хлопцы, если бы не погибли тогда? Что делали, если бы были после войны на нашем месте?.. Наверное, так же, как и ты с Леником, яблони здесь сажали...

— А помнишь, кто вел тогда группу?

— Сергуш Анатолий...

— Помнишь, как он приглашал нас к себе в гости на Волгу? Закончится война — всех вас, говорил, к себе в гости повезу. В моем саду на берегу под яблонями посидим, уху сварим, песни попоем...

— Я Анатолия впервые в Полоцком бору услышал. С Санько у них песня ладилась...

Солнце неровно освещало яблони, и они были двухцветными — розоватые вверху, а внизу, слабо подсвеченные, сине-белые, словно посыпанные тем же седым пеплом, что заметал угли костра. Букач настроился было поделиться своим открытием, но не успел — тихо и печально, приглушенно, как бы говоря таинственно, запел Гайко, уставившись в угли костра.

*Мы никогда не знаем, где нас беда ударит.*

*Мы никогда не знаем, кто нас в дороге ждет...*

Слова были знакомые, и они тревожили, порождали в душе Букача щемящее чувство непоправимой утраты, чего-то сделанного не совсем ладно, почти погано, чувство непонятной обиды и тоски. Удивительно... Очень удивительно! Слова память восстановила, а вот облик Сергуша припоминается как-то расплывчато, будто смотришь на человека через какую-то полупрозрачную ткань... И приглашение в сад на берегу Волги стерлось из памяти... А вот пел он, помнится, вот так же, как поет сейчас Гайко, так же медленно и задумчиво выговаривал слова, словно сам вслушивался в их звучание и проверял правильность, силился понять спрятанный ото всех смысл и вместе с тем жалел, что смысл этот постигал, но никак не мог высказать, передать другим.

Букач посмотрел на Гайко, и у него в груди, где-то очень глубоко, мгновенно возник маленький холодный комочек, с острыми, колкими краешками, и краешки эти осторожно покалывали сердце. Вот так же, как сейчас сидит Гайко, сидел, помнится, у костра Сергуш — наклонившись, уставив глаза в стылые угли, будто что-то в них искал. Гайко был тогда молодым, совсем мальчишка, а Сергуш в годах уже, с густой сединой на висках — отметиной фашистского плена. Действительно, с этой своей сединой на висках Гайко напоминает Сергуша: такой же широкий лоб с глубокими морщинами, нос с приметной горбинкой, подбородок ровный, без ямочки, но тяжелый и упрямый, а щеки чуть красные, как обожженные морозом. Может, это отсвет от яблонь? Нет, у него вообще такой цвет кожи. Букача, помнится, удивил этот цвет еще в прошлом году, там, на Двине под Полоцком.

"Это от огня. Он же там, в своем формовочном, все время у горячего металла..."

Догадка не удивила Букача, она снова привела его к неизбежной мысли: он, Букач, вчера в одиночестве в чем-то важном ошибся, рассуждая о жизни своего друга. Казалось, что эту песню, которую все так же тихо и задумчиво ведет Гайко, он слышал уже ночью, засыпая на диване под шелест ветра в лоджии.

*Мы никогда не знаем, друга где потеряем,*

*Где наше счастье бродит, где нас удача ждет.*

*Что ж мы так редко просим неба озерную просинь:*

*Небо, скажи нам, небо, кто нас за далью ждет...*

Букач пел теперь вместе с Гайко, точнее, не пел, а так же размеренно, потихоньку произносил слова, и они смыкались в плотную цепь, и все в этой цепи звучало, и цепь эта не обременяла, на сердце от нее становилось легко, тоска едва только приближалась и тотчас же отступала, словно испугавшись чего-то, и все представало перед Букачем как бы в двух, тесно связанных между собой измерениях, и измерения эти были непохожими друг на друга, существовал мир, рожденный словами песни, которую Букач услышал впервые, ох, как давно, у партизанского костра, от Сергуша, — все в этом мире было чистое, понятное и не требовало никаких объяснений и доказательств; и еще существовал другой мир, схваченный взглядом Букача, мир майской синевы в вышине, буйной кипени яблоневого цвета, отражавшейся в зеленоватой глади пруда, мир смеха маленького Леника, который рассыпался теперь как раз в той стороне, где снова откликалась кукушка, мир друга Букача, который сидел, склонившись над гаснущим костром, — все в этом мире требовало от Букача рассудительности, заставляло мучительно доискиваться до истоков тоски и печали, которые он ощутил вечером и ощутил ночью, когда, проснувшись, смотрел на мечущиеся тени, изгибавшиеся вокруг часов на стене.

Букач сидел, опираясь на правый локоть, и рука от этого занемела, и он устроился поудобнее, прислонился спиной к шершавому яблоневому стволу. Отражение яблонь в воде словно выгнулось, потом замерло, и Букач увидел, что цвет отражения одинаков, с розовым оттенком на ветвях снизу и сверху, и тон этот становится плотнее и плотнее, словно яблони выплывают из глубины на поверхность. Букач вдруг затих, сидел огорошенный неожиданной мыслью о том, что знает, в чем он ошибся, размышляя над жизнью своего друга: он, Букач, не принимал во внимание человеческую радость. А подлинная радость человеческой жизни не в той радости, которую испытало свое собственное сердце, а в той радости, которую ты подарил людям. И подлинное достоинство человека не только в том, что он делает на этой земле, сколько годов он прожил, а в том мире радости, который он оставляет живым.

Алесь Савицкий

1985 г.

Авторизованный перевод с белорусского Владимира Севрука